

северогерманский порт завершается плавание, но финал романа открыт. Как останется открытым и вопрос, сумеем ли мы — пассажиры «корабля дураков» — исцелиться от поразившей нас «слепоты и гаупо-

сти». Вот в этом-то вопросе и заключается смысл назидания Портер. А ответ на него, понятное дело, лежит за пределами книги.

О. АЛЯКРИНСКИЙ.

*

НАЦИОНАЛЬНЫЙ КОСМОС И ЛИЧНАЯ МИФОЛОГИЯ

Георгий Гачев. Национальные образы мира. М. «Советский писатель». 1988. 447 стр.

Георгий Гачев. Воспоминание об отцах. Документальное повествование. «Дружба народов», 1989, № 7.

Георгий Гачев. Жизнемысли. М. «Правда». 1989. 48 стр.

Автор книги «Национальные образы мира» осознает себя «жанровым преступником» (по традиционному кодексу жанров, конечно). И тут же публикует две «декларации». Первая — «о праве на текст», о праве не представлять чистую мысль или свободный от рациональных требований образ, а создавать мыслеобраз. Вторая — о праве писать не только о предмете своей мысли, но и о себе, и о своем «инструменте» и «бесстыдно» говорить о вещах, для пуристской науки слишком интимных, — событиях своей биографии и даже чувствах.

К нетрадиционности Г. Гачева ведет отчасти сам предмет исследования. Национальные образы мира, или — другое их имя у Г. Гачева — национальные космосы (Космо — Психо — Логосы), не уловить непосредственным наблюдением: свой «космос» соприроден человеку и не становится предметом рефлексии, а чужие плохо различимы. Национальное оборачивается или графой в паспорте (признак, означающий национальную принадлежность, то есть, по Г. Гачеву, нечто отвлеченно-формализованное, а не народную общность), или перечислением добродетелей и пороков в угоду политической конъюнктуре либо мифологемам массового сознания.

Национальный образ надо воссоздать, и поэтому Г. Гачев — исследователь-реконструктор. Но реконструктор, не строящий по заранее известной схеме, а сам в ходе своей работы ее ищущий. И опорой оказывается личная интуиция, опыт собственных переживаний (так, «стеснение, мука, тоска, бесприютность» в часы сумерек собственной души рождают у него мысль: не в этих ли чувствах — подоплека причина технического изобретательства англичан, перемогающих таким творчеством туманную сумрачность Альбиона?). Автор ведет «эрос угадывания». Национальная культура описывается не расчлененно, а

слитно — как целостность. Во всем возникают соответствия, самые ошеломительные. Так, «дискретное» блюдо шницель и атомарная логика философских построений для автора — проявления одного инварианта немецкого космоса.

Важны эти соответствия, а не причины, их роднящие, ибо последние не переживаются, по Гачеву, народом, для которого есть единая культура, но не существует отвлеченных причин и следствий. Прояснить этот цельный образ культуры, сделать его предметом переживания человека иного национального космоса и хочет Г. Гачев.

Сама задача предопределяет субъективность «космосов» Г. Гачева: крайне сложно отграничить образ мира, каким видит его чужая нация, от образа мира этой чужой нации, видимого сквозь космос нации своей. Так, неукорененность американцев в истории и их «детский» возраст соотносены Г. Гачевым с растительностью Нового Света, «у которой корни не глубоки», — травой (вместо привычного дерева). Автор напоминает о «Листьях травы» У. Уитмена. Может быть, и так, но сам факт выделения именно этого образа не связан ли и с традиционным европейским взглядом на первозданную Америку? А модель «мирового дерева» не воплощена ли в вертикалях американских небоскребов? Или из дантовского «сумрачного леса» выводится мысль о противопоставленности в итальянской культурной модели дороги и леса; однако ведь в Италии почти нет лесов, да и мыслятся они опасным местом у очень многих народов — не у одних итальянцев, — например, в русском фольклоре.

Возможную (и неизбежную) субъективность Г. Гачев осознает и старается преодолеть. Как описать несколько национальных образов мира? Чтобы сохранить непротиворечивость картины, нужен общий,

единый язык. Интернационализированный язык науки тут не подойдет — он не может «зацепить» национального своеобразия. И тогда Г. Гачев вспоминает о мифологии, об архаических схемах и архетипах сознания — метаязыке, роднящем разные культуры. Так появляются «ургия» («трудом сотворенность») и «гония» («рожденность естеством»), вспоминаются мужской и женский архетипы, четыре первоэлемента — огонь, вода, земля и воздух. И еще — Эрос. А макрокосм, мир описывается по модели человеческого тела, микрокосма (и наоборот). «Очень емким оказался этот метаязык: на него переводима и поэзия, и естествознание, и духовные и бытовые явления, и можно природу читать духовно, а духовные явления осмысливать в контексте природы».

Впрочем, в опубликованном спустя год после издания книги документальном повествовании «Воспамятование об отцах» Г. Гачевым названо и еще одно обстоятельство, заставившее его искать самовыражения в «пристрастных» интерпретациях мировой культуры: «Когда зашло мне за полста, оборотился я вспять и стал просматривать дневник, что веду уже более четверти века. И понял, что это было основное поприще моих «деяний» — в эпоху, когда «снова замерло все до рассвета», а рассвета, казалось, и не будет... Тем интенсивнее устремлялась энергия во внутреннюю жизнь души и духа, в царство неотъемлемое — мировой культуры. Отвлеченные идеи стали переживаться близко к сердцу и наоборот: домашние микроситуации, семейные прямо соотносились с центром бытия, со смыслом жизни всеобщей, в них узнавались вечные проблемы. Тогда не просто живешь, но священно...»

О восстановлении Прошлого-священного Гачев пишет и в своих «уразумениях из дневника» («Иностранная литература», 1989, № 2): «Нам... теперь предстоит воссоздать Отца, сыну родить Мать и Отца». Даже слишком привычное политизованное слово «перестройка» для автора — возрождение исконных мифологем, преодоление одностороннего, самоуверенного рационализма и сциентизма («ныне в ПЕРЕСТРОЙКЕ перед нами стоит: возрождение — как воскрешение — плодородия земли, и лон женских, и вкуса труда на себя, и живого вкуса плода — доморощенного...»).

...Да, автор этой непривычной книги и странных статей — консерватор (если хотите, ретроград): к идее прогресса он относится недоверчиво, опору ищет в ценностях былого, ценностях утерянных.

Чуждая гордыни и страсти переделывать других, работа над собой и своей землей, терпимость, скромное подвижничество — эти привлекательные черты Г. Гачев находит у «агронома», «экономиста», автора «Записок», тульского помещика А. Т. Болотова, жившего двести лет назад («Частная честная жизнь. Альтернатива русской литературе». — «Литературная учеба», 1989, № 3), настойчиво противопоставляя его «революционерам» — от Петра I до декабристов и далее. Идеальный русский человек, добропорядочный хозяин, носитель благословенного здравого смысла, Андрей Болотов у Г. Гачева нарисован тоже субъективно, как и все герои. Спорить можно о противопоставлении «Записок» Болотова позднейшей русской литературе, будто бы недооценившей обыденного человека и избравшей истинным героем горделиво-самодовольного — «лишнего». Ведь болотовского героя можно встретить не только у Л. Толстого, но и у Гончарова или Лескова. И во многом к Андрею Болотову, а не к Петру (вопреки Гачеву) ближе пушкинский поручик Гринев. А словесно обыгранная антитеза «государственного революционера» Петра I и частного человека Болотова — «Петровича» — рождает сомнения: не забыл ли писатель, что отца мемуариста звали Тимофей (Петр — это его дед)?

Но вернемся к «Национальным образам мира». Здесь читатель найдет глубокий культурный подтекст. Поиски целостного национального мировидения в очень непохожих проявлениях — пище и языке, одежде и складе мысли — перекликаются с подходом к культурным типам в «Закате Европы» О. Шпенглера; глава «Космос Достоевского» заставляет вспомнить «Мирозерцание Достоевского» Н. А. Бердяева, а жанр «жизнемыслей» напомнит о В. В. Розанове, о его книгах-дневниках, сочетающих исповедальность, афористичность, отстраненное самоизучение...

Целостность мифологии и патриархальность «доиндустриального» уклада — попытка воссоздать эти ценности может показаться бесплодной борьбой со временем; изменения необратимы не только в реальности, но и в мысли о ней. Но Г. Гачев пытается преодолеть дистанцию забвения и непонимания художественно — одновременно и серьезно, и иронически, условно. В «Национальных образах мира» описания космосов разных народов не окончательны, открыты для добавлений и уточнений. Даже исконно монологическая форма примечания разбита на высказыва-

ния, которыми обмениваются автор и редактор — его второе лицо. Возражения оппонента Гачев добросовестно фиксирует, но не опровергает («так что да звучит — диалог!»). Он хотел бы открыть новый диалогический жанр, по аналогии с художественным произведением героини-мыслеобразы могут высказывать разные, в том числе и спорные и неверные идеи, но истина рождается в их скрещении. Смысловые поля, кусты ассоциаций должны будить мысль и наталкивать на ответ. В «интеллектуальной художественной прозе» (определение автора) арбитром истинности Г. Гачеву видится читатель. От него требуется и вдумчивая сосредоточенная работа и сотворчество.

Все же, на мой взгляд, аналогия хромает: в художественном мире правом на ошибку обладает не идея как таковая, а лицо, и в целостности произведения неверные мысли героев не менее нужны, чем верные. Автор же научного текста стремится отсечь заведомо неверные идеи.

Впрочем, интересны «Национальные образы мира» с иной точки зрения. Гачев свободен от культурной узости и пристрастности. Чужое национальное мировидение близко ему, вызывает участие. У Г. Гачева нет прогрессистского отношения к культуре, распределяющего народы «выше» и «ниже» по лестнице истории; нет предпочтения одного национального (болгарского, русского) космоса или типа культуры другому. Автор книги не просто внимателен к иному сознанию: отталкиваясь от мирозерцаний другого (философа, писателя, народа), он создает собственную реальность, в которой каждый предмет, чувство или слово дороги для него лично.

У повествователя гачевской прозы не вызывает симпатий ангажированность, политизированная и идеологизированная позиция. Работы Г. Гачева писались в разное время на протяжении двадцати лет и непосредственного отношения к нынешней идеологической поляризации или изломам национального самосознания, конечно, не имеют. В частности, поэтому сопереживание и соразмышление с автором «Национальных образов мира» рождает счастливое чувство свободы.

Сверхзадача — докопаться до национальной логики — Г. Гачева в книге не достигнута. Отчасти, вероятно, и потому, что она для Г. Гачева слишком рассудочна. Национальные модели привлекают автора как обломки целостного видения мира, не

знающего узости наук. Но все же восстановление утраченного единства возможно, по-видимому, не в интеллектуальном жанре, а лишь в художественном слове, нейтрализующем противоположность рационального и иррационального.

Скорее в книге Г. Гачева следует видеть смелую попытку создания собственной мифологии, замаскированной под «мифы разных стран и народов». Мифологичность у него выражается в смешении уровней интерпретации образов, слов, предметов: малое и великое, часть и целое уравниваются, набор звуков в языке может рассказать о космосе народа не меньше, чем многие произведения и философские трактаты. Внерациональная логика преданий и строгая эмпирика эксперимента приводят к тождественным выводам (мифу об огнедышащих драконах отвечает установленный наукой факт близости химических процессов дыхания и горения).

Основным источником для конструирования моделей Гачеву служит литература. Порой «национальный образ мира» естественно вытекает из анализируемых текстов (киргизская модель по повестям Ч. Айтматова). По едва заметным признакам в строении фраз, в выборе слов тонко воссоздается космос Болгарии. Иногда же произведение — лишь повод для развертывания собственной мифологемы автора вопреки исходному тексту.

Устремляющаяся вверх вода в «Фонтане» Тютчева трактуется как аналог огня, чья пламя тоже поднимается к небу. Замечу, однако, что символика воды в стихотворении — тщетные дерзания разума познать конечную истину — противоположна традиционной для огня, означающей высокую ясность ума. Волей «соавтора» Гачева тютчевский Лебедь становится смысловым центром русского космоса, отождествляясь с «лебедью белой» Пушкина и фольклора. Автору безразлично, что стихотворение «Лебедь» цитатно, перефразирует не только одноименное державинское, но и через его посредство произведение римской литературы, оду Горация «К Меценату».

Предполагается о чем бы ни говорили произведения, они «проговариваются» космосом народа. А раз это так, достаточно сходства слов, чтобы построить русскую модель мира из образов, найденных у совсем непохожих писателей. И вот принуждаются Тютчев и Пушкин к неожиданному диалогу. Оказывается, что о тютчевском «коне морском» сказал еще автор «Песни о вещем Олеге»: «То смиренно стоит

под стрелами врагов, то мчится по бранному полю». А строки Тютчева «копыта кинешь в звонкий брег — и в брызги разлетишься!» стали ответом на пушкинские «куда ты скачешь, гордый конь, и где опустишь ты копыта?». С точки зрения строгой интерпретации сближение очень рискованное.

Вспомнившийся латинский афоризм «капля точит камень» наталкивает Г. Гачева на неожиданное определение спившихся чиновников Достоевского: они — отсыревшие камни дома Петрова. В механизме порождения этой мифологемы сплетены логический вывод и свободная фантазия; выстраивается произвольный ассо-

циативный ряд: капля — вода — водка — камень — чиновник. Так выводится историософия России: глубинные воды народного духа размывают дело Петра!

Упрекнуть Г. Гачева есть в чем: если это наука, то слишком веселая, если философия — то вторичная и стилизованная, если мифология — то искусственная и непоследовательная... Научные и художественные построения можно канонизировать и повторять — это иногда бывает плодотворно. Книга «Национальные образы мира» невоспроизводима сторонней мыслью, она — факт культуры, должно быть, единственный в своем роде.

А. РАНЧИН.

*

Политика и наука

«ЛЕНИН ИЛИ КОРНИЛОВ?»

Г. З. Иоффе. «Белое дело». Генерал Корнилов. М. «Наука». 1989. 288 стр.

Чем объяснить легкость, с какой был осуществлен в 1917 году октябрьский переворот? Когда и почему началась гражданская война в России? Кто такие белые и их первый вождь генерал Л. Г. Корнилов? Что в конечном счете определило неудачу «белого дела»? С этими и другими, казалось бы, давно решенными вопросами читатель сталкивается в новой книге известного советского историка Г. З. Иоффе.

Советская историография, руководствуясь неизбежными догмами классовости и партийности, на протяжении десятилетий доказывала нам историческую закономерность Октября и победы большевизма. Революцию надлежало воспевать, контрреволюция предавалась анафеме. Нарушалась элементарная диалектика: революцию освещали в отрыве от контрреволюции. Последняя вообще не изучалась, а лишь разоблачалась. В результате мы получили искаженное представление о важнейшем периоде отечественной истории, определившем наш сегодняшний день.

Г. З. Иоффе одним из первых осмелился нарушить табу, распространявшееся на изучение белого движения, опубликовав ряд серьезных монографий на эту тему. В рецензируемой книге историк исследует зарождение белого движения, руководимого на начальном этапе генералом Корниловым. Сразу замечу, что речь не о политической биографии Л. Г. Корнилова. Иоффе справедливо полагает, что феномен «белого дела»

останется до конца непонятым, если продолжать сводить его к антинародным проделкам кучки генералов-монархистов, как будто под их знаменами не сражались десятки тысяч вчерашних крестьян и мирных российских обывателей, искренне любивших ту самую матушку Россию, которая на их глазах умирала в страшных мучениях. Одним словом, книга не столько о Корнилове, сколько о корниловщине.

И все же наш не избалованный читатель, не имевший допуска в спецхран, может хотя бы в общих чертах получить теперь представление о человеке, искренне считавшем себя спасителем России. Не отвергая традиционную оценку генерала Корнилова, существующую в нашей литературе, Иоффе не идет по привычному и легкому пути разоблачительного окарикатуривания вождя белого движения. Он представляет нам не только принципиального противника большевизма, врага революции, но и русского патриота; не тупого солдафона и держиморду, желавшего восстановить низвергнутый трон Николая Романова, но способного и храброго военачальника, высокообразованного человека, знатока восточных языков, автора научных трудов, наконец, политика, понимавшего невозможность простого возврата к дофевральскому режиму.

Воздавая должное личным качествам Лавра Георгиевича Корнилова, в 1907—1917 годах прошедшего путь от скромного